

Медленное  
возвращение домой

«И вот когда я, споткнувшись  
о тропинку, полетел кувырком,  
откуда ни возьмись там появи-  
лась форма...»

## *1. Доисторические формы*

Зоргер пережил уже нескольких ставших ему близкими людей и больше не испытывал тоски, напротив, все чаще его охватывала самозабвенная жажда бытия и какая-то почти животная потребность в исцелении, давившая на веки. Способный погружаться в состояние тихой гармонии, передававшейся и другим, как это бывает, когда человек находится во власти некоей радостной силы, он, так легко вместе с тем обижавшийся, сталкиваясь с очевидными, неопровержимыми фактами, знал, что такое потерянность, жаждал ответственности и был весь переполнен поиском форм, их различением и описанием за пределами ландшафта, где обыкновенно («в поле», «на местности») и протекала его мучительная, хотя по временам и забавная, в редких случаях — увенчивающаяся успехом профессиональная деятельность.

Конец рабочего дня застал его в деревянном доме, выкрашенном в светло-серый цвет, на краю поселка, заселенного в основном одними индейцами, далеко-далеко на севере, на другом конце земли, где он вот уже несколько месяцев жил вместе со своим коллегой Лауффером, с которым они устроили здесь нечто вроде лаборатории; и вот теперь, закончив все дела, он натянул чехлы на многочисленные микро-

скопы и подзорные трубы, которыми он пользовался попеременно, и с перекошенным от постоянного прищуривания лицом, миновав образовавшееся на улице из света предзакатного солнца и летящего белого тополиного пуха эпизодическое пространство, напоминающее внеурочный коридор, направился к «своему» берегу.

Здесь, у этого пологого глинистого склона — он мог бы легко спрыгнуть вниз, — начиналась область безраздельного господства воды, которая неслась стремительными потоками, безлюдно сверкая, заполняя собою пространство до самого горизонта — всю поверхность континента от востока до запада, — равно как и долину, протянувшуюся с севера на юг, как будто кое-где заселенную, но совершенно необжитую, где теперь лились извивающиеся струи воды, не слишком сильные из-за наступающей обыкновенно в это время года засухи и прекратившегося таяния снегов и потому не могущие преодолеть широкую каменистую отмель и влажную гряду из ила и водорослей, через которую перекачивались лишь легкие длинные волны, разбивавшиеся о берег у самых ног Зоргера.

Вся эта толща воды казалась неподвижной, оттого что она была повсюду и доходила до самого горизонта, причем сами линии горизонта, являя собою некий феномен извилистости, были образованы не теми потоками, что стекались с востока и запада, а прочерчивались сушей, берегом загибавшейся там реки, вдоль которой росли карликовые тополя, или, быть может, складывались из зубчатых рядов низкорослых и не слишком густых хвойных деревьев, издавна производивших, впрочем, впечатление непроходимой чащи.

## *Медленное возвращение домой*

Река, ограниченная со всех сторон света тоненькими полосками суши и выглядевшая поэтому как какое-нибудь озеро, стремительно, хотя и незаметно для постороннего глаза, несла свои воды, текла быстро и почти бесшумно, если не считать легкого, как бывает в ваннах, плеска волн об илистый берег; двигалась вперед единой однородной массой, как некое чужеродное тело, заполнившее собою всю долину, окрашенное отраженным светом заходящего солнца и не воспринимающееся даже как нечто влажное, как инородный предмет, на поверхности которого рассеяны в неясном сумеречном свете отдельные островки, утратившие уже свою рельефность, да отмели; и только там, где над невидимыми ямами, впадинами и углублениями в песчаном дне образовались водовороты, взрыхлившие поверхность этой в целом однородной металлически-желтой массы, вода в бешено вращающихся воронках отливала не желтым цветом, а, поскольку здесь она находилась совсем под другим углом по отношению к небу, чем вся остальная водная гладь и отражала те его части, которые не были захвачены закатом, уходила в синеву, из недр которой доносилось тихое журчание, наподобие журчания ручейка, нарушавшее обычное почти что безмолвное течение волн.

Зоргер испытывал необычайное одушевление от одной мысли, что вся эта дикая природа, простирающаяся перед ним, в результате длительных, многомесячных наблюдений, позволивших ему (хотя бы приблизительно) познакомиться с этими формами и проследить за их возникновением, стала его сугубо личным пространством; постепенно все эти силы, принимавшие участие в создании образа ландшафта,

обрели для него реальность, при том что он и не пытался включить их в свое представление, а познавал их одновременно с познанием этой большой воды, ее течения, ее кружения, ее стремительного бега, и эти силы, действовавшие некогда в том внешнем мире разрушительно (и, видимо, продолжающие и по сей день свою разрушительную работу), превратились, подчиняясь каким-то своим законам, в добрую внутреннюю силу и действовали на него успокаивающе и ободряюще. Он свято верил в свою науку, ибо она помогала ему всякий раз чувствовать то место, где он в данный момент оказался; сознание того, что он, именно теперь, стоит на пологом берегу реки, тогда как другой ее берег, удаленный на много миль и едва различимый за разбросанными островками, был все же несколько выше, и то, что он может отнести эту странную асимметрию на счет отталкивающих сил вращения земли, не беспокоило его, а, напротив, заставляло думать о том, что эта земная планета бесконечно цивилизованная и какая-то удивительно родная, отчего его духу сообщалась легкость, а телу спортивность.

То же самое он испытывал, когда на мгновение представлял себе, как несется над ландшафтом тополиный пух, а в сокровенных глубинах реки скользят по дну мелкие камушки, перекатываются, обгоняя друг друга, или даже медленно отрываются ото дна в плавном прыжке, опутанные тиной, подгоняемые естественными волнами, которые он не только мог представить себе — как они бурлят где-то глубоко-глубоко, сокрытые под гладкой поверхностью, превращаясь во встречное течение, — но и прочувствовать: Зоргер всегда старался, где бы он ни был, убедиться в реаль-

### *Медленное возвращение домой*

ности таких бурлескных, едва приметных процессов, которые порою были приятным развлечением, а иногда волновали и занимали его всерьез.

В последние годы — с тех пор как он стал жить почти что всегда один — у него появилась потребность в том, чтобы ясно чувствовать то место, где он находится в данный момент: осознавать расстояния, точно знать угол наклона, более или менее представлять себе материал и состав слоев грунта, на котором он сейчас находится, — хотя бы на глубине нескольких метров, — и вообще быть в состоянии сделать соответствующие расчеты и провести границы, с тем чтобы создать себе пространства в виде «чистых форм, существующих на бумаге», с помощью которых он все же мог, пусть не надолго, собрать себя воедино и сделать неуязвимым.

Зоргеру была нужна природа, но не только как чистое, природное пространство, он мог довольствоваться, например, и тем, что обнаруживал в каком-нибудь большом городе едва уловимый, пусть даже закрытый асфальтом бугорок или впадинку, мягкие перепады бульжной мостовой, втоптаные в землю за века фундаменты церквей или каменные ступеньки; ему довольно было, что он мог представить себе, как он, забравшись на самый верх какого-нибудь высотного здания, казавшегося еще недавно таким чужим, устремляется вертикально вниз, к самому основанию, и, предаваясь таким вот снам наяву, проследить, скажем, за линией гранитного цоколя, — так появлялись ориентация и жизненно необходимое пространство для дыхания (и тем самым уверенность в себе), одно вытекало из другого.

У него была способность (впрочем, не постоянная, а спорадическая и случайная, хотя эта случайность обуславливалась характером его профессиональной деятельности, которая в некотором смысле сообщала ей постоянство) при необходимости призывать себе на помощь пространства мира, в которые ему доводилось вживаться по роду занятий, или просто так для собственного развлечения и развлечения других процитировать их — явив со всеми их ограничениями, параметрами света и ветра, показателями широты и долготы, положением небесного тела — в виде неизменно мирных, принадлежащих всем и никому картин событий, которые еще предстоит только выдумать.

В каждой новой местности, даже если та являлась первому взгляду обозримо-монотонной или по закону противоположности необычайно живописной, во всяком случае постижимо открытой, за этим мимолетным наивным ощущением знакомого пространства неизбежно наступало как будто окончательное тупое отчуждение, переживаемое как потеря равновесия, оттого, что ты вдруг оказался перед обыкновенными и к тому же знакомыми кулисами, испытывая в довершение ко всему мучительное чувство вины за то, что и «здесь ты не на своем месте»; поэтому со временем это превратилось у Зоргера в страсть: оставаясь снаружи и стараясь справиться с первой пустотой, суметь заполучить обратно эти так стремительно теряющиеся пространства посредством созерцания и зарисовывания; уже много лет бесприютный и не имеющий, стало быть, возможности после таких туристических неприятностей, доставляемых разными местностями земли, укрыться в своих собственных четырех стенах, он воспринимал каждое место

## *Медленное возвращение домой*

здесь и сейчас как свой единственный шанс: если он не смирится с ним (часто без всякой охоты), заставив себя здесь работать, то нигде будет больше укрыться пространствам из прошлого, в случае же удачи, в блаженном изнеможении, все его пространства, и то отдельное, только что завоеванное, и все прежние, соединятся в единый закрывающий собою небо и землю купол, под сводами которого раскинется святилище, открывающееся не только для него лично, но и для других.

После первого разочарования от природы, которая всякий раз сперва спешила поманить своей соблазнительной доступностью, а потом стремительно ускользала, Зоргеру приходилось, чтобы не пропасть, со всею энергией углубляться в нее. Он должен был воспринимать весь окружающий мир в самой его мельчайшей форме — будь то трещинка на камне, изменяющаяся окраска ила, песок, прибившийся к растению, — и воспринимать серьезно, как воспринимают все серьезно дети, для того чтобы он, ни с кем и ни с чем не связанный, ни за что другое нигде не отвечающий, мог бы хоть как-то держаться, неважно для кого; и иногда ему даже это удавалось, правда при этом ему всегда приходилось яростно преодолевать самого себя.

А для кого ему нужно было держаться? Зоргер отдавал себе отчет в том, что все его научные занятия есть не что иное, как религия: только работа делала его способным устанавливать связи, только тогда он чувствовал готовность к выбору, в двояком смысле — он мог выбирать и его могли выбрать. Кто? Это не имело значения, важно, что он мог быть избранным.

Изучение образа земли, которому он отдавался не фанатично, но настолько истово, что постепенно к нему приходило ощущение и собственного образа, эта работа, помогая ему отмежеваться от Великой Бесформенности с ее опасными капризами и настроениями, и в самом деле до сих пор спасала его душу.

А другие? В своей профессиональной деятельности Зоргер еще ни разу не сделал ничего такого, чем бы он мог быть действительно полезен другим, ни какому-нибудь отдельному человеку, ни какой-нибудь группе людей: он не участвовал в разработках нефтяных скважин, ему не доводилось предсказывать землетрясения, никто не привлекал его даже хотя бы в качестве ответственного лица к проверке состояния грунта при строительстве какого-нибудь объекта. И все же он был уверен в непреложности «своего личного факта»: если бы он не старался принимать на себя все то неприятное, что есть в каждом участке земли, если бы он не умел, используя имеющиеся в его распоряжении методы, читать ландшафты и передавать прочитанное уже в систематизированном виде другим, с ним бы никто не смог общаться, никто.

Он вовсе не считал, что его наука — нечто вроде мировой религии; педантичное исполнение профессионального долга («образцово показательной» называл его работу Лауффер, отличавшийся, напротив, неорганизованностью и какой-то милой непоседливостью) превращалось для него в своеобразное упражнение, призванное научить его доверять миру, а размеренность всех его движений как в работе, так и в быту была не чем иным, как попыткой уйти в медитацию, удававшейся, правда, лишь в таких местах,

### *Медленное возвращение домой*

как ванная комната, кухня или мастерская, где он начинал тогда неспешно блуждать. Вера Зоргера была ни на что не направлена; просто благодаря ей он мог, когда это ему удавалось, превращаться в часть «своего предмета» (дырчатого камня, а иногда и башмака на столе, какой-то ниточки на микроскопе), и она же наделяла его, часто такого подавленного, только теперь ощутившего себя настоящим исследователем, чувством юмора, и тогда, погрузившись в состояние тихой вибрации, он принимался просто более пристально рассматривать свой мир.

В такие периоды, когда он беззаветно отдавался чувству приязни (в редкие моменты, когда его посещала надежда, он сам себе казался глупцом), в Зоргере не было ничего божественного, он просто знал, — пусть это знание было мимолетно, но уловимо и закрепляемо на веки вечные в формах, — что такое хорошо и что такое плохо.

У него была потребность в такой вере, которая была бы направлена на что-нибудь, хотя он никогда не мог себе представить никакого Бога; но в те моменты, когда он бывал подавлен, он замечал, что ему искренне хотелось, — быть может, это было не желание, а только навязчивая идея? — он чуть ли не молил о том, чтобы вместе с каждой мыслью его посещала мысль о Боге. (Иногда он даже мечтал о том, чтобы стать по-настоящему верующим, но это ему никогда не удавалось, хотя при этом он был уверен в том, что «боги» его понимают.)

Завидовал ли он безмятежно верующим, всем этим бесчисленным спасшимся душам? Его просто трогало в них полное отсутствие настроений, их способность без особого труда переходить от серьезно-

сти к веселости, их неизменная благотворная и такая добрая обращенность вовне; сам он, честно говоря, был недобрый, и это его определенно не устраивало: слишком часто он реагировал на что-то восторженным потоком слов, а уже через секунду не испытывал по этому поводу ничего, кроме глухой досады, хотя в действительности нужно было бы отнестись к этому со снисходительным юмором и раз и навсегда закрыть эту тему.

И все же верующие не могли составить ему компанию. Он понимал их, но не мог говорить с ними на их языке, потому что у него не было языка, а в те редкие минуты, когда он впадал в несвойственную ему религиозность, он все равно бы говорил чужим им языком: «темной ночью их веры», когда язык скован немотой, — он все равно оставался бы им непонятым.

Зато языковые формы его собственной науки нередко казались Зоргеру, при всей их убедительности, каким-то забавным надувательством; ее обряд описания ландшафта, ее согласованная система описательных и назывных форм, ее представления о времени и месте — все это казалось ему весьма сомнительным: и оттого, что на этом языке, возникновение и развитие которого связано с историей человечества, нужно было представить историю совершенно иных движений и структур земного шара, — от этого у него всякий раз неожиданно начинала кружиться голова, и ему требовались невероятные усилия, чтобы представить себе в исследуемом месте — время. Он подозревал, что есть совсем другие схемы описания течения времени в различных формах ландшафта, и уже представлял себе, как он с лукавой усмешкой, которая отличает испокон веку всякого мыслителя, пере-

## *Медленное возвращение домой*

осмысливающего все заново (он обратил на это внимание, рассматривая их фотографии), подсовывает миру свое очередное надувательство.

Теперь, когда Зоргер в часы досуга мог с воодушевлением отдаться игре ума, ему, уже насмотревшемуся на эту желтую дикую землю, нетрудно было представить себе, каким покинутым почувствовал бы себя тот, кто, не имея веры в силу форм или лишенный по неведению хотя бы возможности поверить в нее, вдруг, как в кошмарном сне, оказался бы один на один с этой местностью: это был бы ужас, страх перед злым духом, неотвратимым концом света, где человек от сплошного одиночества — ведь и за ним ничего бы уже больше не было — готов был бы умереть прямо на месте, но ему не дано было бы это: потому что уже не было бы никакого места — и даже злой дух уже не смог бы забрать его к себе: потому что самое это имя перестало бы существовать — и осталось бы только вечное умирание от ужаса, потому что и время перестало бы существовать. И поверхность воды, и плоское небо над ней вдруг превратились в створки распахнутой раковины, из недр которой страшно соблазнительно, трепеща и содрогаясь от острого нарастающего возбуждения, хлынул поток пропавших от начала времен без вести.

Зоргер, вырванный из игры, произвольно обернулся, как свой собственный двойник, который, очутившись на уступе, образовавшемся из глины, мергеля и, может быть, золотой пыли, оказался под угрозой этой дрожащей пустоты, как будто все время менявшей направление движения, — и посмотрел на обжитое пространство позади него, туда, где мелькали среди кустов светлые мохнатые хвосты цепных собак, где

блестели кустики молодой травы на земляных крышах хижин индейцев и где стоял теперь тот «вечный другой» — таким представился ему в этот момент его коллега Лауффер — в высоких сапогах, заляпанных илом, в специальной куртке с множеством карманов, с поблескивающей лупой, висящей на шнурке, он только что вернулся с полевых работ и теперь остановился на последней деревянной ступеньке, перед входом в дом с высокой крышей, освещенный солнцем, падавшим на лицо и грудь, как будто потерянный оттого, что то место, куда он теперь вернулся, было не домом, а всего-навсего крышей над головой, он стоял застыв на месте, словно копируя оцепеневшего Зоргера, как и он устремив взгляд на бескрайние водные просторы, с сигаретой в зубах, с таким же перекошенным лицом, всем своим видом как будто взывая о помощи, напоминая одного из тех, кто идет в колонне, где один не отличим от другого, где каждый смотрит в затылок впереди идущего.

Лауффер был одним из тех друзей, с которым у него установились близкие отношения, но в этих отношениях не было, однако, никакого панибратства, в них чувствовалась скорее какая-то робкая вежливость. Невозможно было представить, чтобы кто-нибудь из них, при том что в их повседневной жизни многое зависело от настроения, позволил бы себе выплеснуть наружу свои эмоции (хотя иногда это было бы даже полезно). Им приходилось делить рабочую комнату на двоих, но только один раз, в самом начале, они повздорили из-за чего-то, а так — без всяких договоров каждый знал свое место, и в спальне тоже, — в доме было только два этих помещения. У них было много общего, и это казалось само собой разумею-

## *Медленное возвращение домой*

щимся, хотя при этом если они делали что-нибудь вместе, то это выглядело скорее случайностью; каждый занимался своим делом, и даже внутри дома у каждого из них были свои тропы. Они никогда не ели по-настоящему вместе, просто один подсаживался к другому, если тот решил как следует пообедать, и тогда неизменно раздавался вопрос: «Выпьешь со мной вина?» Если же кто-нибудь из них хотел послушать музыку, то другой не уходил из комнаты, а сидел и слушал как будто безучастно, только, быть может, постепенно втягиваясь, — и тогда мог даже попросить поставить что-то снова.

Лауффер был лжецом; Зоргер при всем внешнем спокойствии и невозмутимости все еще оставался непостоянным человеком, чье непостоянство выражалось порой в резком переходе к абсолютному равнодушию или даже неверности: оба они догадывались или знали дурные стороны друг друга, с которыми они молча мирились (непостижимым образом предчувствуя, когда они должны проявиться, в то время как тот, против кого они, собственно говоря, направлены, продолжал оставаться в полном неведении) и, забавляясь про себя, что каждый из них по отношению к посторонним может вести себя как последняя сволочь, никогда не позволяли себе ничего подобного по отношению друг к другу, радуясь тому, что они уже так долго вместе: рядом с другом каждый казался себе вполне благонамеренным и уж во всяком случае не злодеем.

Их нельзя было назвать парой, даже по контрасту; за все эти годы они стали скорее партнерами и оставались ими даже на расстоянии — сработавшейся командой, но не закадычными друзьями: вра-